

ВЛАДИМИР СОРОКИН

18+



Доктор Гарин

Владимир Сорокин

Метель

«Corpus (АСТ)»

2010

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Метель / В. Г. Сорокин — «Corpus (АСТ)», 2010 — (Доктор
Гарин)

ISBN 978-5-17-109145-3

Что за странный боливийский вирус вызвал эпидемию в русском селе?
Откуда взялись в снегу среди полей и лесов хрустальные пирамидки?
Кто такие витаминдеры, живущие своей особой жизнью в домах из
самозарождающегося войлока? И чем закончится история одной поездки
сельского доктора Гарина, начавшаяся в метель на маленькой станции, где
никогда не сыскать лошадей? Повесть Владимира Сорокина не только об
этом. Поэтичная, краткая и изысканная «Метель» стоит особняком среди книг
автора. Подобно знаменитым произведениям русской классики о путешествии
по родным просторам, эта маленькая повесть рисует большую картину
русской жизни и ставит философские вопросы, на которые не дает ответа.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109145-3

© Сорокин В. Г., 2010
© Corpus (АСТ), 2010

Содержание

* * *	5
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Владимир Сорокин

МЕТЕЛЬ

* * *

*Покойник спать ложится
На белую постель,
В окне легко кружится
Спокойная метель...*

Александр Блок

– Да поймите же вы, мне надо непременно ехать! – в сердцах взмахнул руками Платон Ильич. – Меня ждут больные! Боль-ны-е! Эпидемия! Это вам о чем-то говорит?! Смотритель прижал кулаки к своей барсучьей душегрейке, наклоняясь вперед: – Да как же-с нам не понять-то? Как не понять-с? Вам ехать надобно-с, я понимаю очень хорошо-с. А у меня лошадей нет и до завтра никак не будет!

– Да как же у вас нет лошадей?! – со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. – На что же тогда ваша станция?

– А вот на то, что лошади все повышли, и нет ни одной, ни одной! – громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. – Разве вечером чудом почтовые свалются. Так кто ж знает – когда?

Платон Ильич снял пенсне и уставился на смотрителя так, словно увидел его впервые:

– Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают?

Смотритель, разжав кулаки, протянул руки к доктору, словно прося подаяния:

– Да как же не понять-с? Отчего ж нам не понять-с? Люди православныя помирают, беда, как же не понять! Но вы в окошко-то гляньте, что творится!

Платон Ильич надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день.

Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки бабы-яги: они показывали четверть третьего.

– Третий час уж! – Он негодуяще качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. – Третий час! А там и смеркаться начнет, понимаешь ты?

– Да как не понять-с, как же не понять... – начал было смотритель, но доктор решительно оборвал его:

– Вот что, батенька! Доставай мне лошадей хоть из-под земли! Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу. За саботаж.

Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться. Его слегка согнутая в пояснице фигура в короткой душегрейке, плюшевых штанах и высоких белых, подшитых желтой кожей валенках застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязаньем в дальнем углу за ситцевой занавеской, заворочалась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшее осточертеть доктору за эти два часа ожидания, питья чая с малиновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней «Нивы»:

– Михалыч, нешто Перхушу просить?

Смотритель сразу пришел в себя.

– Можно и Перхушу упросить, – почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. – Но они ж хотят казенных лошадей.

– Мне все равно каких! – воскликнул доктор. – Лошадей! Лошадей! Ло-ша-дей!

Смотритель зашаркал к конторке:

– Ежели он не у дяди в Хопрове, можно и упросить...

Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти:

– Миколай Лукич, Михалыч тревожит. Скажика, что наш хлебовоз к вам сѣдни не проезжал? Нет? Ну и ладно. А как же! Куда ж нынче ехать, тут нет возможности никакой, а как же. Ну, благодарствуй.

Он осторожно положил трубку на рычажки и с признаками оживления на неряшливо выбритом, безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору:

– Стало быть, сѣдни наш Перхуша за хлебом в Хопров не поехал. Здесь он, на печи лежит. А то он как за хлебом поедет, так сразу мимоездом – к дяде. А там – чай да лясы-балясы. К вечеру токмо нам хлеб и привозит.

– У него лошади?

– Самокат у него.

– Самокат? – сощурился доктор, доставая портсигар.

– Коль упросите его, он вас на самокате в Долгое и доставит.

– А мои? – наморщил лоб Платон Ильич, вспомнив свои сани, ямщика и пару казенных лошадей.

– А ваши тутова покамест постоят. На них потом и вернетесь.

Доктор закурил, выпустил дым:

– И где этот твой хлебовоз?

– Тут неподалеку. – Смотритель махнул рукой себе за спину. – Вас Васятка проводит. Васятка!

На зов его никто не откликнулся.

– Он, чай, в новой хате, – отозвалась из-за занавески жена смотрителя.

И тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла. Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый, тяжелый пихор на цигейке, влез в него, надел широкий лисий малахай с охвостьем, накинул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог распахнутой перед ним смотрителем двери в темные сени.

Уездный доктор Платон Ильич Гарин был высоким, крепким сорокадвухлетним мужчиной с узким, вытянутым, большеносым лицом, выбритым до синевы и всегда имевшим выражение сосредоточенного недовольства. «Вы все мне мешаете исполнить то очень важное и единственно возможное, на что я предопределен судьбою, что я умею делать лучше всех вас и на что я уже потратил большую часть своей сознательной жизни», – словно говорило это целеустремленное лицо с большим упрямым носом и подзаплывшими глазами. В сенях он столкнулся с женой смотрителя и Васяткой, сразу забравшим у него оба саквояжа.

– Седьмой дом отсюда, – напутствовал смотритель, забегая вперед и открывая дверь на крыльцо. – Васятка, проводи господина дохтура.

Платон Ильич вышел на воздух, щурясь. Было слегка морозно, пасмурно; слабый, но не утихший за эти три часа ветер по-прежнему нес мелкий снег.

– Он с вас шибко много не возьмет, – бормотал смотритель, ежась на ветру. – Он мужик к барышу равнодушный. Лишь бы поехал.

Васятка поставил саквояжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке, подхватил саквояжи, затопал с крыльца по наметенному снегу:

– Пойдемте, барин.

Доктор двинулся за ним, дымя папиросой. Они пошли по заметенной, пустой деревенской улице. Снегу навалило, подбитые изнутри мехом докторовы сапоги проваливались почти вполголенища.

«Метет... – думал Платон Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на ветру папиросу. – Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна. Медвежий угол, да и только: никогда зимой здесь не сыскать лошадей. Зарекался, ан – нет, поехал, dumkorf¹ Ехал бы себе по тракту, там в Запрудном сменялся да и поехал дальше, ну и пусть, что на семь верст дольше, зато уже б в Долгом был. И станция порядочная, и дорога широкая. Dumkorf! Теперь хлебай тут киселя...»

Васятка бодро месил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как баба ведрами на коромысле. Пристанционное поселение хоть и именовалось деревней Долбешино, но на самом деле было хутором из десяти дворов, разбросанных неблизко один от другого. Пока по запорошенному большаку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пихоре. Возле этой старой, сильно осевшей избы все было замечено и отсутствовали следы человека, словно в ней и не жил никто. И только из трубы ветер рвал клочья белого дыма.

Путники прошли сквозь кое-как огороженный палисадник, поднялись на заметенное, накренившееся вбок крыльцо. Васятка толкнул плечом дверь, она оказалась незапертой. Они вошли в темные сени, Васятка наткнулся на что-то, сказал:

– Ох ты...

Платон Ильич с трудом различил в темноте две большие бочки, тачку и какой-то хлам. У хлебовоза в сенях пахло почему-то пасекой – ульями, пергой и воском. Этот летний, милый запах никак не вязался с февральской метелицей. С трудом пробравшись к обитой мешковиной двери, Васятка отворил ее, прихватив один из саквояжей под мышку, шагнул через высокий порог:

– Здравствуйте вам!

Доктор вошел за ним, уклонившись от притолоки.

В избе было чуть теплее, светлее и пустыней, чем в сенях: горели дрова в большой русской печи, на столе одиноко стояла деревянная солонка, лежала коврига хлеба под полотенцем, темнела одинокая икона в углу и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы-ходики. Из мебели доктор заметил лишь сундук да железную кровать.

– Дядь Козьма! – позвал Васятка, бережно опустив саквояжи на пол.

Никто не отозвался.

– Нешто на двор пошел? – Васятка обернул к доктору свое широкое веснушчатое лицо со смешным, словно облупленным, розовым носом.

– Чаво там? – раздалось на печи, и показалась взлохмаченная рыжая голова с клочковатой бородкой и заспанными шелками глаз.

– Здоров, дядь Козьма! – радостно выкрикнул Васятка. – Тут вот дохтуру в Долгое приспешило, а казенных на станции нетути.

– И чаво? – почесалась голова.

– А вот свез бы ты его на самоходе-то.

Павел Ильич подошел к печи:

– В Долгом эпидемия, мне непременно надо быть там сегодня. Непременно!

– Эпидемия? – Хлебовоз протер глаз большими заскоружлыми пальцами с грязными ногтями. – Слышал про эпидемию. Завчера на почте в Хопрове говорили.

– Меня там ждуд больные. Я везу вакцину.

Голова на печи исчезла, послышалось кряхтение и скрип ступенек. Козьма спустился, закашлялся, вышел из-за печи. Это был малорослый, худощавый и узкоплечий мужик лет трид-

¹ Дурак (нем.).

цати с кривыми ногами и непомерно большими кистями рук, какие случаются часто у портных. Лицо его, востроносое, заплывшее со сна, было добродушным и пыталось улыбнуться. Он стоял босой, в исподнем перед доктором, почесывая в своей рыжей, взъерошенной шевелюре.

– Вак-цину? – произнес он уважительно и осторожно, словно боясь уронить это слово на свой старый, истертый и щелястый пол.

– Вакцину, – повторил доктор и стянул с головы свой лисий малахай, под которым ему тут же стало жарко.

– Так ведь метель, барин. – Перхуша глянул в подслеповатое окошко.

– Знаю, что метель! Там больные люди ждут! – повысил голос доктор.

Почесываясь, Перхуша подошел к окошку, обложенному по краям рамы пенькой.

– Я вон нынче и за хлебом не поехал. – Он смахнул пальцем проталину, проступившую в оконном инее от печного огня, глянул. – Ведь не единым хлебом жив человек, так?

– Сколько ты хочешь? – потерял терпение доктор.

Перхуша оглянулся на него, словно ожидая удара, молча пошел в угол справа от печи, где на лавке и полках стояли ведра, крынки и печные котлы, взял медный ковш, зачерпнул из ведра воды и стал быстро пить, дергая кадыком.

– Пять целковых! – предложил доктор таким угрожающим тоном, что Перхуша вздрогнул.

И тут же рассмеялся, отирая рот рукавом рубахи:

– Да на что мне...

Он поставил ковш, огляделся, икнув:

– А это... Я ж токмо что печь затопил.

– Там люди гибнут! – выкрикнул доктор.

Перхуша, не взглянув на доктора, почесал грудь, сощурился на окошко. Доктор смотрел на хлебовоза с таким выражением своего носатого, напряженного лица, словно был готов его избить или разрыдаться.

Перхуша вздохнул, почесал шею:

– Слышь, малой, ты тогда тово...

– Чаво? – раскрыл рот, не поняв, Васятка.

– Посиди тут. А как прогорит – заложишь трубу.

– Сделаю, дядь Козьма. – Васятка скинул с себя полушубок, свалил на лавку и сел рядом.

– У тебя самоход... какой тяги? – спросил доктор с облегчением.

– Пятьдесят лошадок.

– Хорошо! Часа за полтора и доберемся до Долгого. А назад поедешь с пятью целковыми.

– Да полно, барин... – с улыбкой махнул Перхуша своей большой, клешнеобразной рукой и хлопнул себя по худым ляжкам. – Ладноть, пойдём запрягаться.

Он скрылся за печью и вскоре вышел в серой шерстяной кофте грубой вязки и ватных штанах, подтянутых солдатским ремнем высоко, почти на груди, и с парой серых валенок под мышкой. Сев на лавку рядом с Васяткой и кинув валенки на пол, стал быстро наматывать портянки.

Доктор достал папиросу и пошел на воздух. Там было все то же: серое небо, пурга, ветер. Хутор словно вымер – ни человеческого голоса, ни собачьего лая.

Стоя на крыльце и втягивая бодрящий папиросный дым, Платон Ильич уже думал о завтрашнем дне: «Ночью вакцинирую, а утром пойдём на кладбище, глянем могилы. Лишь бы карантин не подвел по такой погоде, а то проберется какой-нибудь сквозь облогу, а потом – ищи ветра в поле. В Митино два кольца обложных и то не помогли – прорвались, покусали... Интересно, там ли уже Зильберштейн? Эх, кабы там! В четыре руки вакцинировать сподручней, мы бы с ним за ночь по всей деревне прошлись... Нет, не доберется он раньше меня из Усох, там, почитай, сорок верст, да по такой погоде... Вот повезло с этой метелью...»

Перхуша, тем временем обувшись, накинул на себя небольшой черный тулуп, подпоясал его кушаком, заткнул за кушак рукавицы, нахлобучил шапку, взял со стола ковригу, отрезал от нее краюху, сунул за пазуху, отрезал еще ломоть, откусил от него, пожевал, подмигнув сидящему на лавке Васятке:

– Рот бы чайком попарить, да неколи: ишь как разорался. Эпи-демия! Откуда ж он прикатил-то?

– Кажись, с Репишной. – Васятка протер глаз кулаком. – На почтовых. Ямщик казенной, сразу спать залег.

– Чаво ж им не спать-то, казенным... – Перхуша прощально заглянул в печку, шлепнул Васятку по голове и, жуя, с куском ржаного хлеба пошел на задний двор.

Двор хлебовоза был так же неказист и стар, как и изба: кособочился пристроенный впри-тык хлев, неаккуратно громоздились кладни дров, поодаль стоял сенник с проломившейся и наспех прикрытой жердинами и соломой крышей, неподалеку чернела рига, в которой по всему ее виду вряд ли молотили последние года четыре. Зато маленькая, похожая на баньку конюшня была новорубленной, крытая широкой дранкой, с хорошо проконопаченными стенами, с двумя утепленными окошками. Рядом с ней под заснеженным навесом стоял и самокат. Загребая снег валенками, своей кривоногой и быстрой походкой Перхуша подошел к конюшне, сунул руку за пазуху, нашарил у себя под рубахой ключ на шнурке, вытянул и стал отпирать висячий замок.

За дверью послышался прерывистый резкий звук, словно застрекотал крупный сверчок. И сразу же – еще три таких же звука, потом еще, еще, и вдруг словно рой сверчков громко и настойчиво застрекотал на все лады. И тут же в хлеву хрюкнул боров. В конюшне застрекотали сильнее.

– Иду, засади вас... – Перхуша открыл замок, распахнул дверь и вошел в конюшню.

На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, он пошел через кузню и шорную прямо в стойло к лошадям. Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора Перхуши конюшня его была образцовой, новой, чистой, опрятной, что сразу показывало главную страсть хозяина. Конюшня делилась пополам: сразу от двери начинались кузница и шорная, стоял верстак, на нем небольшая наковальня, здесь же крохотная печка размером с самовар, с мехами, изготовленными из пасечного дыма, с инструментом, аккуратно разложенном на верстаке: ножи, молоточки, щипчики, буравчики, рашпили и банка с лошадиной мазью с кисточкой внутри. Посередине верстака стояла глиняная чашка, полная крошечных, с копейку, подков. Рядом – другая чашка, с кучей маленьких гвоздей для этих подков. На стене рядами висели маленькие хомутики, напоминающие сушеные грибы. Над верстаком висела большая керосиновая лампа.

За кузней и шорной в большой плетухе был сеновал с мелкоизрубленным клевером, рядом поднималась загородка, а за ней – лошадиные стойла. Улыбающийся Перхуша наклонился через загородку, и снизу раздалось многоголосое, переливчатое ржание пятидесяти *малых* лошадей. Все они стояли по своим стойлам, кто в парных, кто впятером, кто по трое. В каждом стойле имелись по два корыта-комьяги – для воды и для корма. В комьягах для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанной лошадям Перхушей в пять утра.

– Ну что, засади вас, прокотимся? – спросил Перхуша своих лошадей, и они заржали еще громче.

Те, что помоложе, встали на дыбы, взбрыкнув передними ногами, коренные и степные фыркали, трясли и кивали головами. Перхуша опустил вниз свою большую грубую руку, другой же придерживал хлебный ломоть и стал трогать лошадей. Он касался их пальцами, трогал за спины, гладил по гривам, а они ржали, задирая кверху мордочки, играючи покусывали его руку маленькими зубами, тыкались в пальцы теплыми ноздрями. Каждая из лошадей была не более куропатки. Каждую лошадь он знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле, какова ее история, какая она в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и характер.

Костяк Перхушиного табуна составляли саврасые широкогрудые жеребцы с короткими, темно-рыжими хвостами, их было более половины, за ними шли каурки, караковые, восемь гнедых, четверо сивых, двое серых в яблоках и двое чалых – один вороно-чалый, другой рыже-чалый.

Здесь были только жеребцы и мерины. *Малые* же кобылы ценились буквально на вес золота, их держали только коннозаводчики.

– На-ка хлеба, – произнес Перхуша и стал крошить хлеб и кидать его в комяги.

Лошади склонились к ним. Искрошив весь хлеб и подождав, пока они съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал:

– Айда запрягаться!

И рывком поднял единую загородку, открывающую все стойла сразу.

Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному желобу, становясь сразу в нем табунном, здороваясь друг с другом, покусываясь, грегоча и побрыкиваясь. Желоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Перхуша смотрел на табун, лицо его посветлело и помолодело. Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми. Сдвинув в сторону стенную заслонку, он открыл проход лошадям в упрёх самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший из стылого нутра самоката.

– Айда-айда, – подбадривал он лошадей. – Нынче не шибко пристужно, морозец терпимый...

Дождавшись, пока последняя лошадь зайдет в самокат, он задвинул заслонку, быстро вышел из конюшни, запер ее, спрятал ключ на груди и, кривоного обежав конюшню, открыл капор самохода. Приученные лошади сами разбредались по местам, ожидая хомутания. В капоре было пять рядов по десять лошадей в каждой. Перхуша стал быстро хомутать лошадей, проталкивая их головы в хомутики. Они шли покорно, и только два гнедка, как всегда, стали грызться между собой и нарушать порядок в третьей рядке.

– Вот, вот я щас кнутовищем-то, засади вас! – пообещал им Перхуша.

Запряженная первой десятка упитанных коренных саврасок звучно молотила копытами в мерзлый, ребристый протяг, каурки в третьей рядке понуро отдавали хозяину свои гривастые головы, чтобы он пропихнул их в хомуты, гнедые держались с достоинством высшей лошадиной расы и стригли ушами, сивки равнодушно пожевывали, караковые вздыхали и кивали головами, серые в яблоках нетерпеливо переминались, а бойкий рыже-чалый непрерывно ржал, скаля молодые зубы.

– Ну вот. – Перхуша вставил в капор деревянный шкворень, запирая всех лошадей на своих местах, взял дегтярку, смазал оба подшипника протяга, надел рукавицы, взял кнутик и пошел звать доктора.

Тот докуривал вторую папиросу, стоя на крыльце.

– Можно ехать, барин, – доложил ему Перхуша.

– Слава богу... – недовольно швырнул окурок доктор. – Поехали, поехали...

Перхуша взял один из его саквояжей, они прошли сквозь сени на двор, к самокату, Перхуша отпахнул медвежьей полость, доктор сел, и пока Перхуша приторачивал сзади его саквояжи на козлы, уставился на лошадей. Он редко видел и уж совсем редко ездил на малых лошадях и с усталым от ожидания интересом разглядывал их, пятью рядками стоящих в капоре и перебирающих копытцами по ребристой полосе протяга.

«Маленькие существа, а помогают нам в тяжелых, непреодолимых обстоятельствах... – подумал он. – И как бы я поехал без этих крошек? Странно... только на них и надежда. И никто больше не доведет меня до этого Долгого...»

Он вспомнил двух обычных лошадей, на которых, совсем измученных метелью, он три с половиной часа назад приехал в проклятое Долбешино и которые сейчас стояли на стационарной конюшне и, наверно, что-то жевали.

«Чем больше животное, тем оно уязвимей на наших просторах. А уж человек уязвим донельзя...»

Доктор протянул вперед руку в перчатке, растопырил пальцы и коснулся крупов двух караковых в последней грядке. Лошадки равнодушно покосились на него.

Подошел Перхуша, сел рядом с доктором, застегнул полость, взялся за правило, взмахнул кнутиком:

– Ну, с Богом... Н-но!

Он причмокнул. Лошадки напряглись, заперебирали ногами, протяг со скрипом ожил и сдвинулся под ними.

– Н-но! Н-но! – крутил над ними кнутиком Перхуша.

Их маленькие крупы играли напрягшимися мышцами, хомутики поскрипывали, копыта скребли по протягу, и вот он пошел, пошел, пошел. Самокат тронулся, снег взвизгнул под полозьями.

Перхуша сунул кнут в чехол и заворочал правилом. Самокат стал выезжать со двора. Ворот тут не было, от них остались лишь два покосившихся столба. Самокат проехал между ними, Перхуша выправил его на большак и, причмокивая, подмигнул доктору:

– Покатили!

Тот удовлетворенно поднял цигейковый воротник пихора, засунул руки под полость. Большак быстро проехали, Перхуша свернул на развилку: левая дорога шла на далекий Запрудный, а правая – в Долгое. Самокат покатыл по правой дороге. Ее занесло, но не совсем. То тут, то там виднелись редкие вешки и голые, раскачиваемые ветром кусты. Снег сыпал все тот же – мелкий, как крупа. Он падал на спины лошадей.

– Что ж это они у тебя не под навесом идут? – спросил доктор.

– Пусть подышат, успеем еще накрыться, – ответил Перхуша.

Доктор заметил, что возница почти все время улыбается.

«Добросердечный малый...» – подумал он и заговорил с ним:

– А что, выгодно тебе малых держать?

– Да как сказать, барин, – шире заулыбался Перхуша, обнажая неровные зубы. – Покамест на хлеб да на квас хватает.

– Хлеб возишь?

– Стало быть, так.

– Один живешь?

– Один.

– Что так?

– Ускоп пристиг.

«Импотенция...» – понял доктор.

– А был женат раньше?

– Был, – улыбался Перхуша. – Два года прожили. А опосля, как пристигло меня, понял, что с бабым телом не совладаю. Кто ж со мной жить будет?

– Ушла? – поправил пенсне доктор.

– Ушла. И слава Богу.

Проехали версту молча. Лошади бежали по протягу не слишком быстро, но и не медленно, чувствовалось, что они ухожены и их хорошо кормят.

– А не скучно одному тут на хуторе? – спросил доктор.

– Скучать некогда. Летом сенцо подвожу.

– А зимой?

– А зимою... вас! – засмеялся Перхуша.

Платон Ильич тоже усмехнулся. С Перхушей стало ему как-то хорошо и спокойно, раздражение покидало доктора, и он прекратил торопить себя и других. Ему стало ясно, что Пер-

хуша довезет его, что бы ни случилось, и он успеет к людям и спасет их от страшной болезни. В лице возницы, как показалось доктору, было что-то птичье, насмешливое и одновременно беспомощное, доброе и беззлобное; это востроносое, улыбочивое лицо с реденькой рыжеватой бородкой, со щелочками оплывших глаз, в нахлобученной большой и старой шапке-ушанке покачивалось рядом с доктором в такт движению самоката и, казалось, было всем совершенно довольно: и самокатом, и легким морозцем, и своими ладными, ровно бегущими коньками, и этим доктором в пенсне и лисьем малахае, свалившимся откуда-то со своими важными саквояжами, и этой белесой, бесконечной снежной равниной, раскинувшейся впереди и тонущей в крутящейся поземке.

– На подводы не нанимаешься? – спросил доктор.

– На что мне... Казенных денег хватать. Работал я в Солоухах у одних, а потом понял – чужой кусок глотку дерет. Хлеб вожу и вожу. И слава Богу...

– А почему тебя Перхушей кличут?

– А... – усмехнулся возница. – Это я на кордоне работал молодым еще, рубили мы там просеку. В бараке жили. А меня чевой-то хворость грудная пристигла, стал перхать по ночам. Все спят, а я перхаю, спать им не даю. Озлились они на меня и давай запрягать: ты-де ночами перхаешь, нас тревожишь, а ну давай дрова коли, печку топи, воду таскай! Проварили меня по полной за мое перханье. Так и говорили: «Перхушка, делай это, Перхушка, делай то!» Я ж самым младшим в артели был. Так и пристало: Перхушка да Перхушка.

– Тебя Козьмою зовут?

– Козьмой.

– А что, Козьма, теперь не перхаешь по ночам?

– Нет! Господь уберет. Спина вот ломить, как к непогоде. А так здоров.

– И возишь хлеб?

– Вожу.

– Не беспокоило одному-то возить?

– Нет. Одному хорошо, барин. Старики-возчики говорили: один едешь – на плечах по ангелу, вдвоем – один ангел, втроем – сатана в телеге.

– Мудро! – засмеялся доктор.

– А и то верно, барин. Как обозом обратные едут – в однорядь завернут куды-нибудь да и пропьют чего-нибудь.

– А ты сам-то не пьешь?

– Пью. Но меру знаю.

– Удивительно даже! – засмеялся доктор, ворочаясь под полостью и доставая портсигар.

– А чаво ж тут удивительно?

– Бобыли обычно пьют.

– Ежели поднесут косачка – выпью. А сам и не держу ее дома, на что мне. Неколи пить-то, барин, – пятьдесят лошадей как-никак.

– Вижу, – попробовал закурить доктор, но спичку задуло.

Задуло и вторую. Стало заметно, что ветер усилился и снег пошел хлопьями. Они падали на спины лошадей, забивались по углам капора, щекотали лицо доктору, шуршали на пенсне.

Он закурил, вглядываясь вперед:

– А сколько верст до Долгого?

– Верст сямнадцать.

Доктор вспомнил, что станционный смотритель называл другую цифру – пятнадцать.

– По такой погоде часа за два доедем? – спросил Платон Ильич.

– Да кто ж его знает? – усмехнулся Перхуша, надвигая шапку от снега совсем на глаза.

– Дорога-то ровная.

– Тут дорога справная, – кивнул Перхуша.

Дорога шла по полю с кустами, ее было видно и без редких вешек, торчащих из снега. Поле сменилось редколесьем, вешки кончились, но зато справа в дорогу влился санный след, что сразу обозначило дальнейший путь и прибодрило доктора: кто-то проехал по их пути совсем недавно.

Самокат ехал по санному следу, Перхуша легко правил, доктор курил.

Вскоре лес подрос и сгустился, дорога пошла низом, самокат въехал в березник, и Перхуша потянул на себя вожжи:

– Пр-р-р-р!

Лошади встали.

Перхуша слез, завозился сзади под капором.

– Что такое? – спросил доктор.

– Лошадок накрою, – объяснил возница, выпрастывая свернутую рогожу.

– Правильно, – согласился доктор, щурясь на пургу. – Снег пошел.

– Снег пошел.

Перхуша накрыл капор брезентовой рогожей, пристегнул по углам. Сел, чмокнул губами:

– Н-но!

Лошади тронули.

«В лесу ехать спокойней – тут одна дорога, видная, никуда не денешься...» – думал доктор, смахивая снег с воротника.

– Давно ты решил малыми лошадами заняться? – спросил он Перхушу.

– Года четыре тому.

– А чего?

– Брательник у меня в Хопрове помер, Гриша, у него двадцать четыре конька осталось. А жена, знамо дело, ими заниматься не пожалала. Говорит: продавать буду. Тут меня ангел Божий сподобил спросить: а почему? По три целковых за штуку. А у меня тогда шестьдесят рублей было. Я говорю: давай куплю у тебя за шестьдесят. И сторговались. Взял их в лукошко да и понес к себе в Долбешино. А тут как раз и подвезло: хлебовоз наш, Порфирий, в город подался с сыном. Я у него и самокат прикупил недорого и еще лошадок поменял на радио. И стал заместо него хлеб возить. Тридцать целковых. На то и живем.

– А чего ты обыкновенную лошадь не купил?

– Обнакнаве-н-ну-ую! – вытянул вперед губы трубочкой Перхуша, отчего профиль его стал совсем как у галчонка. – На нее сена не накопишься, на обнакнавленную-то. Я ж, барин, один, как выпь на болоте, куда мне сено ворочать! На корову-то косишь, косишь, не накоسيسи. Я и корову-то нынче не держу, бросил. А на малых – любо-дорого: полосу клевера посею, скошу, высушу – им на всю зиму. Овса им намелю, водицу налью – вот и вся недолга.

– Нынче люди и больших лошадей содержат, – возразил ему доктор. – У нас в Репишной семья содержит большую лошадь.

– Так то семья, барин! – замотал головой Перхуша так, что шапка совсем напозла ему на глаза.

И, поправив шапку, спросил:

– А какова лошадь-то?

– Раза в два больше обычной.

– В два? Это мало. Я у нас на станции видал и поболее. Вы там новое стойло не заметили?

– Нет.

– Осенью построили огромное. Я вон по радио слышал, нонче в Нижнем на ярмонке был битюг с домом четырехэтажной.

– Есть такие лошади, – серьезно кивнул доктор. – Используются для сверхтяжелых работ.

– Вы видали?

– Видал издали, в Твери. Вез такой битюг состав с углем.

- Во! – прищелкнул языком Перхуша. – Сколько ж такая лошадь в день овса жрет?
- Ну, – доктор прищурился, морща свой нос, – я думаю, что...

Вдруг самокат трянуло, крутануло, послышался треск, и доктор чуть не вылетел в снег. Лошадки всхрапнули под брезентом.

– Ух ты... – только успел выдохнуть Перхуша, теряя свалившуюся с головы шапку и налетая грудью на правило.

С носа доктора слетело пенсне, замоталось на шнурке. Он сразу поймал его и надел. Самокат стоял на обочине, накренившись на правый бок.

– Засади тебя... – Перхуша слез, потирая грудь, обошел самокат, присел, заглядывая под него.

– Чего там? – спросил доктор, не вылезая изпод полости.

– Напоролися на чтой-то... – Перхуша сошел вправо с дороги и сразу провалился в снег, заворочался, кряхтя, полез под самокат.

Доктор ждал, сидя в накренившемся самокате. Наконец показалась голова Перхуши:

– Щас...

Он откинул успешную покрыться снегом рогожу, потянул вожжи назад, не садясь на свое место:

– А ну, а ну, а ну...

Лошадки, отфыркиваясь, стали пятиться. Но самокат лишь дергался на месте.

– Дай-ка я сойду... – Доктор отстегнул медвежью полость, слез.

– А ну, а ну, а ну! – Перхуша уперся в самокат, помогая лошадям пятиться.

Самокат дернулся назад, дернулся еще, съехал с гиблого места и встал поперек дороги. Перхуша обежал его спереди, присел на корточки. Подошел и доктор в своем длинном пихоре. Нос правого полоза был расколот.

– Вот оно, засади тебя... Тьфу! – плюнул Перхуша.

– Треснула? – пригляделся доктор, наклоняясь.

– Раколочася, – обидно чомкнул губами Перхуша.

– На что ж такое мы налетели? – поискал глазами доктор спереди самоката.

Там был только взрыхленный снег, на который падал хлопьями снег новый. Перхуша принялся на этом месте разгрести снег валенком, вдруг пнул что-то твердое, оно выскользнуло из снежной мешанины. Возница и седок склонились, сиюсь разглядеть это, но толком не увидели ничего. Доктор протер пенсне, надел снова и вдруг увидел:

– Mein Gott... – Он осторожно протянул руку вниз.

Рука коснулась гладкого, твердого и прозрачного. Перхуша встал на четвереньки, чтобы разглядеть. В снегу еле виднелась прозрачная пирамида размером с Перхушину шапку. Седок и возница ощупали ее. Она была из твердого прозрачного, похожего на стекло, материала. Поземка крутила снежные хлопья вокруг идеально ровных граней пирамиды. Доктор ткнул ее – пирамида легко скользнула в сторону. Он взял ее в руки, выпрямился. Пирамида была чрезвычайно легкой, можно сказать – совсем ничего не весила. Доктор вертел ее в руках:

– Черт знает что...

Перхуша приглядывался, отирая с бровей налипающий снег:

– Чаво ж это?

– Пирамида, – наморщил нос доктор. – Твердая, как сталь.

– На нее напоролися? – чмокал Перхуша.

– Стало быть, на нее. – Доктор вертел пирамиду. – Какого черта она здесь?

– Нешто с воза упало?

– А зачем она?

– А, барин... – в сердцах Перхуша махнул руковицей, отходя к самокату. – Нонче столько штук разных понаделано непонятно для чего...

Он ухватился за сломанный носок полоза, покачал осторожно:

– Вроде не совсем отлупился.

Доктор со вздохом возвращающегося к нему раздражения швырнул пирамиду прочь, и она исчезла в снегу.

– Барин, надо б полоз перевязать чем-то. Да и назад поворотить. – Петруша высморкался в рукавицу.

– Как назад? Ты что?

– А то, что всего-то версты четыре проехали. А там, чай, в ложине снегу поболее, там с перетянутым полозом-то сядем. И тово.

– Погоди, как назад? – развел руками доктор. – Там люди гибнут, там санитары ждут, там эпи-де-мия! Какой – назад?!

– У нас тоже – эпидемия, – рассмеялся Перхуша. – Вон, глянь, как треснуто.

Доктор присел на корточки, разглядывая треснувший полоз.

– С таким двенадцать верст не проедем. Вон мятель-то как заворачивает. – Перхуша оглянулся.

Метель и вправду усилилась, снег несло и крутило.

– Щас лесом проедем, а там в ложине-то как сядим – и тово. И раки про нас речные перешепчутся.

– А если его стянуть чем-нибудь? – разглядывал полоз доктор, смахивая с него падающий снег.

– Чем? Рубахою разве что. Стянуть-то стянем, а надолго не хватит. Сдерет. Поверну я, барин, от греха.

– Погоди, погоди... – задумался доктор. – Чертова пирамида... Слушай, а что, если... У меня же бинт эластичный есть. Он крепкий. Бинтом стянем накрепко да и поедем.

– Как бинтом? – не понял Перхуша. – Он же слабже рубахи, его ж сорвет вмиг.

– Эластичный бинт крепок, – со значением произнес доктор, распрямляясь.

Он произнес это так уверенно, что Перхуша замолчал, съезжившись. Ему вдруг стало зябко.

Доктор решительно подошел к своим пристегнутым сзади саквояжам, отстегнул один, раскрыл, быстро нашел упаковку эластичного бинта, взял, увидел склянки и пузырьки в саквояже и радостно прищелкнул языком:

– Идея! Идея... – Он вытащил одну из склянок, зашпешил к полозу.

Перхуша встал рядом с ним на колени, стал разгребать рукавицами снег. И нащупал еще одну пирамиду.

– Во как, еще одна, – показал он доктору.

– К черту! – Доктор пнул пирамиду сапогом, она отлетела прочь.

И тут же хлопнул Перхушу по спине:

– Мы с тобой, Козьма, сейчас все исправим! Если б у тебя был моментальный клей, ты б склеил эту лыжу?

– Знамо дело.

– Так вот, мы сейчас намажем ее этой мазью, она чрезвычайно густа и липка, а потом еще обмотаем бинтом. Мазь на морозце-то еще и подзастынет и стянет твою лыжину. На такой лыжине ты и в Долгое доедешь, и домой пять раз воротиться.

Перхуша недоверчиво глядел на склянку с мазью, на которой было написано:

Мазь Вишневого + PROTOGEN 17W

Доктор откупорил крышку, протянул Перхуше:

– Она, видать, еще подзастыть не успела... Макай сюда пальцем да обмазывай лыжину.

Перхуша скинул рукавицы, бережно принял склянку в свои большие руки, но тут же вернул доктору:

– Погодь... тогда под полоз уж подложить чего...

Он проворно вытащил из-под сиденья топор и пошел с дороги в лес, выбрал молодую березку и принялся рубить.

Доктор, поставив склянку на самокат, сунул бинт в карман, достал портсигар и закурил.

«Повалило... – подумал он, щурясь на кружащейся снег. – Слава Богу, мороз не сильный. Совсем не холодно...»

Заслыша стук топора, лошадки под рогожей стали фыркать, бойкий рыже-чалый тоненько заржал. С ним перекликнулись несколько других лошадок.

Не успел доктор докурить своей папиросы, как Перхуша свалил березку, вырубил комель и стал заострять его на стволе березки:

– Вот так...

Закончив дело, часто дыша, Перхуша вернулся к самокату и ловко загнал березовый клин под середину правого полоза. Нос его слегка поднялся. Перхуша разгреб под ним снег:

– Таперича и помажем.

Доктор отдал ему склянку, а сам ловко распечатал упаковку бинта. Перхуша лег на бок рядом с полозом и стал обмазывать треснувшую часть мазью.

– Это ж надо, – бормотал он. – Я на пенек налетал пару раз, ничего не лопнуло, а тут – раз, и как колуном... Вот зараза блядская...

– Ничего, забинтуем, доедем, – успокаивал его доктор, наблюдая.

Едва Перхуша закончил, доктор нетерпеливо оттолкнул его:

– Ну-ка, примись...

Петруша откатился от полоза. Доктор, кряхтя, сел на снег, потом тяжело повалился на бок, прилачился и стал ловко бинтовать.

– Ты вот что, Козьма, стяни-ка трещину! – пыхтя, выдавил он.

Перхуша схватился за носок, сжимая трещину.

– Прекрасно... прекрасно... – бормотал доктор, бинтуя.

– Концы-то наверху надобно завязать, внизу срежет, – посоветовал Перхуша.

– Не учи ученого... – сопел доктор.

Он крепко и ровно обмотал полоз, завязал концы вповерх, ловко заправил их под бинт.

– Во оно как! – улыбнулся Перхуша.

– А как еще? – победоносно прорычал доктор, сел, тяжело дыша, стукнул кулаком по фанерному боку самоката. – Поехали!

Лошади внутри зафыркали и захрапели.

Перхуша вышиб клин из-под полоза, кинул топор в изножье, снял шапку, отер вспотевший лоб и глянул на припорошенный снегом самокат так, словно увидал его впервые:

– А может, воротимся, барин?

– Ни-ни-ни! – Доктор обиженно-угрожающе замотал головой, поднимаясь и отряхиваясь. – И думать не смей. Жизнь честных тружеников в опасности! Это, братец, государственное дело. Не имеем права мы с тобой назад повернуть. Не порусски это. И не по-христиански.

– Да это понятно... – Перхуша нахлобучил шапку. – С Христом. А как без него?

– Никак, братец. Поехали! – Доктор хлопнул его по плечу.

Перхуша рассмеялся, вздохнул, махнул рукой:

– Воля ваша!

Откинул запыленную полость, влез на сиденье. Доктор, пристегнув сзади самолично свой саквояж, уселся рядом с Перхушей, запахнулся с выражением удовлетворения на лице и чувства важной, успешно проделанной работы.

– Как вы тутось? – Перхуша заглянул под рогожу.

В ответ послышалось дружное ржание застоявшихся лошадок.

– Ну и слава Христу. Н-но!

Лошадки заскребли копытами по протягу, самокат задрожал и тронулся. Перхуша выровнял его, направляя на путь. Глянув на лежащую впереди дорогу, оба седока сразу заметили, что за время возни с лыжей снег совершенно занес след от обоза, проехавшего по ней ранее, и дорога лежала впереди белая и чистая.

– Во как снегу-то подвалило – гусём не утопчешь! – причмокнул Перхуша, поддегивая вожжи. – Пошли, пошли ходчей!

Но лошадей, скучавших все это время под своей рогожкой, не надо было погонять: они взяли бодро и побежали по мерзлому протягу, звучно выбивая дробь своими маленькими, коваными копытцами. Самокат резво пошел по свежему снегу.

– Нам бы лог проскочить, а там, вповерх, дорога хорошая до самой мельницы! – крикнул Перхуша, жмурясь от снежного ветра.

– Проскочим! – приободрил его доктор, пряча лицо в воротник и малахай и оставляя наружи лишь свой крупный нос, успевший слегка посинеть.

Ветер нес хлопья, крутил их впереди, стелил поземкой по дороге. Лес кругом был редковат, с заметными следами порубки.

Доктор увидел старый, сухой, видимо, много лет назад расколотый молнией дуб и почему-то вспомнил про время, достал часы, глянул: «Шестой час уж. Провозились как... Ну да ничего... По такому снегу быстро, конечно, не доедем, но уж за пару часов-то доползем. Надо же, угораздило налететь на эту странную пирамиду. Зачем она? Наверно, просто как украшение ставится на стол. Явно это не деталь какой-то машины или устройства. Обоз вез много таких пирамид, был гружен ими, а одна выскользнула, попала под самокат...»

Он вспомнил хрустального носорога в доме у Надин, носорога, стоящего у нее на этажерке с нотами, с теми нотами, которые она брала своими маленькими пальцами, ставила на пюпитр рояля и играла, перелистывая быстрым, порывистым движением, таким движением, которое сразу передает всю ее порывистую, ненадежную, как мартовский ледок, натуру. И этот сверкающий носорог с острым хрустальным рогом и тонким, завитым, как у свиньи, хвостиком всегда смотрел на Платона Ильича немного насмешливо, как бы дразняще: помни, ты не один ступаешь на этот хрупкий ледок...

«Надин уже в Берлине, – подумал он. – Там, как всегда, зимой нет снега, наверно, дождливо и промозгло, а у них на Ванзее и озеро зимою никогда не замерзает, всю зиму плавают утки и лебеди... Хороший дом у них, с этим каменным рыцарем, с вековыми липами и платаном... Как глупо мы расстались, я даже и не пообещал ей написать... Вернусь – непременно напишу ей, сразу напишу, хватит играть в униженного и оскорбленного... Я не униженный и не оскорбленный... а она чудесная, она очень хорошая, даже когда ведет себя как последняя дрянь...»

– Надо было взять эту пирамиду с собой, – вдруг произнес он и покосился на возницу.

Перхуша, не расслышав, ехал со своим привычным птичьим выражением на лице. Он радовался, что самокат едет хорошо, как будто и не было никакой поломки, что любимые лошадки его бодры, что метель им не помеха.

«Надо же, даже вбок его не ведет, – думал он, правой рукой пошевеливая правилом, а левой придерживая вожжи. – Значитца, ладно дохтур перетянул полоз. Видать, человек со сноровкой, опытной, сурьезнай. Вишь какой носатай: вези и вези его в Долгое! Дохтора – они тоже многого страшного навиделись, много и чего умеют. Вон летось у Комагона малой попал под косу, так в городе пришили ножку, и приросла, и бегаёт шибче прежнего... а я, когда морду перекосило, поехал к дохтуру в Новоселец, уколосл меня и распластал жвало, и совсем не больно, три зуба вынул, а кровищи полтаза нацедилось...»

Дорога пошла под уклон, лес еще поредел, и вскоре впереди в снежной пелене и замяти возникли неясные очертания большого оврага.

– Здесь, барин, спешиться надо, – произнес Перхуша. – Наверх по такому снежку мои не вытянут. Чай, не битюги трехэтажные...

– Спешимся! – бодро ответил доктор, ворочаясь.

Они спрыгнули с самоката и сразу по колено провалились в глубокий снег. Дорога здесь была совершенно заметена. Перхуша, заклинив правило в одном прямом положении, схватился за спинку самоката со следами старой, полинявшей росписи, и стал на бегу подталкивать его сзади. Но едва самокат миновал дно оврага и поехал вверх, как сразу стал терять движение, а потом и вовсе встал. Перхуша откинул рогожку, спросил лошадей:

– Чаво вы?

Хлопнул над их спинами рукавицами:

– А ну, разом! А ну, рывом!

И громко, лихо присвистнул.

Лошадки уперлись в протяг, Перхуша – в спинку. Доктор тоже схватился за спинку, помогая.

– Ход-чей! Ход-чей! – высоким голосом закричал Перхуша.

Самокат тронулся и с трудом пополз наверх. Но вскоре снова встал. Перхуша подпер его сзади, чтобы он не съехал вниз в овраг. Лошади храпели. Доктор было опять навалился, но Перхуша остановил, сплюнул, тяжело дыша:

– Погодь, барин, сил накопим...

Доктор тоже запыхался.

– Такая вот недолга, – улыбался Перхуша, сдвигая свою шапку на затылок. – Ничаво, щас подымимси.

Они постояли, приходя в себя.

Мягкий крупный снег валил густо, но ветер вроде поуспокоился и не швырял в их лица снежные хлопья.

– Не думал, что тут такая крутизна... – придерживая спинку, огляделся доктор, крутя своим широким, белым от снега малахаем.

– Так тутож ручей, – шумно дышал Перхуша. – Летом едешь вброд. Водича хороша. Как бывалоча еду – всегда слезу да напьюсь.

– Не сорваться бы вниз.

– Не сорвемси.

Постояв и отдышавшись, Перхуша свистнул, крикнул лошадям:

– А-ну, засади вас! А-ну, рывом! Ры-вом! Рывом!

Лошадки заскребли по протягу. Седок и возница подтолкнули самокат. Он медленно пополз в гору.

– А-ну! А-ну! – кричал и посвистывал Перхуша.

Но через двадцать шагов снова встали.

– Штоб тебя... – Доктор бессильно повис на спинке самоката.

– Щас, щас, барин... – задушенно бормотал Перхуша, словно оправдываясь. – Зато потом вниз легко прокотимся, до самой запруды...

– Зачем же тут дорогу устроили... на такой крутизне... дураки... – негодовал доктор, мотая малахаем.

– А где ж ее устроить-то, барин?

– Объехать.

– А как тут объехать-то?

Доктор устало махнул рукой, показав, что не намерен спорить. Отдышавшись, снова полезли наверх под свист и крики Перхуши. Еще четыре раза им пришлось стоять и отдыхать. Из оврага люди и лошади выбрались вконец уставшими.

– Слава те... – только и выдохнул Перхуша, плюя в сторону проклятого оврага и подходя заглядывая в капор к лошадям.

Лошадки были в мыле, пар шел от них, но пар уже был плохо виден: пока выбирались из оврага, стало смеркаться. Измученный доктор скинул малахай, отер свою совершенно мокрую голову, отер пот со лба, достал носовой платок и трубно высморкался. Узкий белый шарф его выбился из пихора и болтался. Доктор зачерпнул пригоршню снега и жадно схватил ртом. Перхуша, накрыв лошадей, скинул валенки, стал вытряхать набившийся в них снег. Пошатываясь, доктор влез на сиденье, откинулся назад и сидел, подставив голову и лицо падающему снегу.

– Ну вот и взобрались, – Перхуша надел валенки, уселся рядом с доктором и устало улыбнулся ему. – Поехали?

– Поехали! – почти выкрикнул доктор, нашаривая портсигар и спички в глубоком, шелковом, приятном на ощупь кармане. Это знакомое прикосновение гладкого, уютного шелка сразу успокоило его и дало понять, что самое тяжелое – позади, что этот беспокойный, опасный овраг навсегда остался за спиной.

Платон Ильич закурил папиросу с особым наслаждением человека, отдыхающего после тяжелой работы. Узкое, разгоряченное лицо его дышало теплом.

– Хочешь папиросу? – спросил он Перхушу.

– Благодарствуйте, барин, мы не курим. – Возница поддернул вожжи, лошадки слабо потянули.

– Что так?

– Не привелось, – устало улыбался своей птичьей улыбкой Перхуша. – Водку пью, а табак не курю.

– И молодец! – так же устало рассмеялся доктор, выпуская дым из полных губ.

Лошадки тянули потихоньку, самокат ехал по напрочь занесенной дороге, прокладывая себе путь. Лес кончился вместе с оврагом; впереди, сквозь крутящийся снег слабо виднелось покатоое поле с редкими островами кустов и ивняка.

– Притомились коньки мои. – Перхуша шлепнул варежкой по рогоже. – Ничо, щас вам полегшает.

Дорога стала плавно уходить влево, к счастью, на ней опять показались редкие вешки.

– Щас запруду проедем, а там – прямая дорога через Новай лес, сбиться трудно, – пояснил Перхуша.

– Давай, брат, давай, – подгонял его доктор.

– Малость они передыхнут, да и покатым.

Лошадки потихоньку приходили в себя после мучительного подъема и тянули самокат неспешно. Так протащились версты две, и почти совсем стемнело. Снег валил, ветер стих.

– Вот и запруда. – Перхуша указал кнутиком вперед, и доктору показалось, что впереди большой, занесенный снегом стог сена.

Они подъехали ближе, и стог сена оказался мостом через речку. Самокат стал переезжать его, что-то заскребло по днищу, Перхуша схватился за правило, выравнивая движение, но самокат вдруг стало заносить вправо, он сполз с моста, ткнулся в сугроб и стал.

– Ах, засади-тя... – выдохнул Перхуша.

– Неужели опять лыжа? – пробормотал доктор.

Перхуша спрыгнул, раздался его голос:

– Ну, пади! Па-ди! Па-ди!

Лошади стали послушно пятиться, Перхуша, упираясь в передок самоката, помогал им. Самокат с трудом выехал из сугроба, Перхуша исчез в снежной пелене, но быстро вернулся:

– Полоз, барин. Бинтик ваш стащило.

Доктор с раздражением и усталостью выбрался из-под полости, подошел, наклонился, с трудом различая треснутый носок полоза.

– Черт побери! – выругался он.

– Во-во... – шмыгнул носом Перхуша.

– Придется опять бинтовать.

– А толку-то? Пару верст проедем, и опять.

– Ехать надо! Непременно надо! – тряс малахаем доктор.

«Упрямай...» – глянул на него Перхуша, почесал висок под шапкой, глянул вдаль:

– Вот чего, барин. Тут рядом мельник живет. Придется к нему. Там и полоз починить сподручней.

– Мельник? Где? – закрутил головой доктор, ничего не различая.

– Во-о-он окошко горит, – махнул рукавицей Перхуша.

Доктор взгляделся в снежную темноту и действительно различил еле заметный огонек.

– Я б к нему и за десять целковых не поехал. Да, видать, выбора нет. Тут в поле ветер ловить не хочется.

– А что он? – рассеянно спросил доктор.

– Ругатель. Но жена у него добрая.

– Так поехали скорей.

– Токмо пошли уж пёхом, а то лошадки замучаются тащить.

– Пошли! – решительно направился к огоньку доктор и сразу провалился в снег по колено.

– Вона там дорога! – указал Перхуша.

Оступаясь в долгополом пихоре и чертыхаясь, доктор выбрался на совершенно неприметную дорогу. Перхуша с трудом выправил туда самокат и понукал лошадок, идя рядом и держась за правило.

Дорога ползла по берегу замерзшей реки, и по ней крайне медленно, мучительно пополз самокат. Направляя его, Перхуша устал и запыхался. Доктор шел позади, изредка толкая самокат в спинку сиденья. Снег валил и валил. Временами он падал так густо, что доктору казалось, будто они ходят по кругу, по берегу озера. Огонек впереди то пропадал, то мерцал.

«Угораздило напороться на эту пирамиду, – думал доктор, держась за спинку самоката. – Давно б уже были в Долгом. Прав этот Козьма – сколько же ненужных вещей в мире... Их изготавливают, развозят на обозах по городам и деревням, уговаривают людей покупать, наживаясь на безвкусице. И люди покупают, радуются, не замечая никчемности, глупости этой вещи... Именно такая омерзительная вещь и принесла нам вред сегодня...»

Перхуша, непрерывно поправляя сползающий вправо с дороги самокат, думал о ненавистном мельнике, о том, что дважды уже зарекся к нему ездить, и вот опять придется иметь с ним дело.

«Видать, слабый зарок я себе положил, – думал он. – Зарекся на Спас: ноги моей там не будет, а таперича – прусь к нему за подмогой. Если б зарекся крепко – ничего б и не случилось, пронесли бы ангелы на крылах своих мимо этой мельницы. А таперича – прись, стучи, проси... Или вовсе не надо зарекаться? Как дед говорил: худа не делай, а зароку не давай...»

Наконец впереди из снега возникли еле различимые две полулежащие в сугробах ракиты, а за ними и дом мельника со светящимися двумя окошками, стоящий прямо на берегу и почти нависающий над рекою. Застывшее в реке водяное колесо сквозь пургу показалось доктору круглой лестницей, ведущей в реку из дома. Это выглядело так убедительно, что он даже не усомнился и понял, что лестница это непременно нужна в хозяйстве для чего-то важного, связанного, вероятно, с рыболовством.

Самокат подполз к дому мельника.

За воротами залаяла собака. Перхуша слез, подошел к дому и постучал в светящееся окно. Не очень скоро калитка возле ворот приотворилась, возник неразличимый в темноте человек:

– Чего?

– Здоров, – подошел к нему Перхуша.

– А, здорово, – узнал его открывший калитку.

Перхуша тоже узнал его, хотя этот работник был у мельника всего первый год.

– Я, тово, дохтура в Долгое везу, а у нас тут полоз сломило, а чинить на ветру несподручно.

– А-а-а... Ну, погоди...

Калитка закрылась.

Прошло несколько долгих минут, и за воротами завозились, загремел засов, ворота со скрипом стали отворяться.

– Въезжайте на двор! – приказным голосом выкрикнул все тот же работник.

Перхуша громко зачмокал губами, направляя самокат в створы ворот, самокат вполз на двор. Доктор вошел следом, и работник сразу затворил и заложил ворота. Хотя и было темно и снежно, но доктор различил довольно просторный двор с постройками.

– Господин дохтур, пожалуйста, – слышался женский голос с крыльца.

Доктор пошел на голос.

– Не оступитесь, – предупредил голос.

Платон Ильич еле различил дверь, но тут же споткнулся о ступеньку и схватился рукой за бабу.

– Не оступитесь, – повторила она, поддерживая его.

От бабу потянуло кислым деревенским теплом. В руке она держала свечку, которую тут же задуло. Баба была женою работника. Она провела доктора через сени, открыла дверь. Доктор вошел в просторную, добротно и богато по деревенским меркам обставленную избу. Две большие керосиновые лампы освещали помещение: две печи, русская и голландка, два стола, кухонный и обеденный, лавки, сундуки, полки с посудой, кровать в углу, приемник под покрывальцем, портрет Государя в негаснущей радужной рамке, портреты государевых дочерей Анны и Ксении в таких же переливающихся рамках, двустволка и автомат Калашникова на лосиных рогах, гобелен, изображающий оленей на водопое и самогонный аппарат на деревянной подставке.

За обеденным столом сидела мельничиха, Таисия Марковна, полнотелая, крупная женщина лет тридцати. Стол был накрыт, на нем поблескивал маленький круглый самовар и стояла двухлитровая бутылка самогона.

– Проходите, милости просим, – произнесла мельничиха, приподнимаясь и накидывая сползший цветастый павлопосадский платок на свои полные плечи. – Господи, да вы ж весь в снегу!

Доктор действительно был весь в снегу, словно вылепленный детворой на Масленицу снеговик – только сизый нос торчал из-под облепленного снегом малахая.

– Авдотья, чё стоишь, помоги, – приказала мельничиха.

Авдотья принялась отряхивать и раздевать доктора.

– Что ж вы вечером да по такой пурге поехали? – Мельничиха вышла из-за стола, шуруша юбкой.

– Выехали мы засветло, – ответил доктор, по частям отдавая свою отяжелевшую, мокрую одежду и оставаясь в темно-синей тройке и в белом шарфе. – Да по дороге сломались.

– Вот беда! – улыбнулась мельничиха, подходя к нему и держась полными белыми руками за концы своего платка.

– Таисия Марковна, – поклонилась она доктору.

– Доктор Гарин, – кивнул ей Платон Ильич, потирая руки.

Войдя в избу, он сразу почувствовал, что озяб, устал и проголодался.

– Выпейте чайку с нами, согрейтесь.

– С удовольствием. – Сняв пенсне, доктор стал неспешно протирать его шарфом, шурясь на самовар.

– Откуда же вы едете? – спросила мельничиха.

Ее голос был грудной, приятный, она говорила слегка нараспев и не с местным акцентом.

– Я выехал утром с Репишной, а в Долбешино не оказалось лошадей. Пришлось тамошнего возчика нанять, с самокатом.

– Кого?

– Козьму.

– Перхушку? – пропищал голосок за столом.

Доктор надел пенсне, глянул: на столе рядом с самоваром сидел, свесив ножки, маленький человек. По размеру он был не больше этого блестящего новенького самоварчика. Человечек был одет во все маленькое, но соответствующее одежде *достаточного* мельника: на нем была красная вязаная кофта, мышинного цвета шерстяные штаны и красные фасонистые сапожки, которыми он помахивал. В руках у человечка была крошечная самокрутка, которую он только что скрутил и склеивал своим маленьким язычком. Лицо у человечка было невзрачное, безбровое, белесое; светлые редкие волосы торчали на голове и по щекам переходили в редкую светлую бородку.

Доктору часто приходилось видеть и лечить маленьких людей, поэтому он, совершенно не удивившись, достал портсигар, раскрыл, вынул папиросу и, привычным движением ввинтив ее в угол своих мясистых губ, ответил малютке:

– Да, его самого.

– Нашли кого нанимать! – зло рассмеялся человечек, беря самокрутку в свой неприятный большой рот и доставая из карманчика крохотную, размером с трехкопеечную монету, зажигалку. – Этот вас к черту на рога завезет.

Он щелкнул зажигалкой, засветилась струя голубого газа, человечек протянул зажигалку вверх к доктору.

– Перхуша? А где ж он? – Мельничиха перевела взгляд своих карих, спокойных, слегка блестящих от выпитого самогона глаз на работницу.

– На скотном, – ответила та. – Позвать?

– Конечно, зови, пусть погреемся.

Доктор наклонился к человечку, а тот со своей стороны уважительно привстал, вытянул зажигалку вверх сильнее, словно держа факел. Рука его покачивалась, и было заметно, что человечек пьян. Доктор прикурил, выпрямился, затянулся и выпустил широкую струю дыма над столом. Человечек тоже прикурил, убрал зажигалку в карманчик и поклонился доктору:

– Семен, Марков сын. Мельник.

– Доктор Гарин. У вас с женой одинаковые отчества?

– Да! – засмеялся человечек и пошатнулся, оперся о самовар, но тут же отдернул руку. – Марковна и Маркыч. Так угораздило, мать твою...

– Не матерись, – подошла мельничиха. – Присаживайтесь, доктор, откушайте чаю. Да и водочки с мороза-то не грех выпить.

– Не грех, – согласился доктор, которому очень захотелось выпить рюмку.

– А как же! Водка да чай – в мороз не скучай! – пропищал мельник, шатаясь, подошел к бутылке, обнял ее и звучно шлепнул по ней ладонью.

Бутылка была вровень с ним.

Доктор опустился на стул, Авдотья поставила перед ним тарелку, стопку, положила трехзубую вилку. Мельничиха взяла бутылку, слегка отпихнув ею мельника, который сразу сел на стол, ткнувшись спиной в краюху пшеничного хлеба, наполнила стопку доктора:

– Выкушайте на здоровье.

– А мне? – спросил мельник, дымя сигаркой.

– А тебе хватит ужо. Сиди, кури.

Мельник не стал спорить с женой и сидел, прислонившись к краюхе и дымя.

Доктор взял стопку, молча и быстро выпил, не выпуская папиросы из левой руки, подцепил вилкой квашеной капусты, закусил. Мельничиха положила ему в тарелку кусок домашней ветчины и жаренной на сале картошки.

– Марковна, надо еще чего? – спросила Авдотья.

– Не надо. Ступай к себе. А Перхушу к нам зови.

Авдотья вышла.

Доктор, затянувшись пару раз, быстро загасил папиросу в маленькой гранитной пепельнице, полной маленьких же окурков, и с жадностью принялся есть.

– Перху-у-шу! – презрительно протянул мельник, кривя и без того некрасивый, лягушачий рот. – Нашла гостя дорогого. Перхушу! Рвань! И срань!

– Мы каждому гостю рады, – спокойно произнесла мельничиха, наливая себе самогона, с полуулыбкой поглядывая на доктора и не обращая внимания на мужа. – Будьте здоровы, доктор.

Платон Ильич молча кивнул с набитым ртом.

– А мне налей! – плаксиво выкрикнул мельник.

Таисия Марковна поставила свою поднятую было стопку, вздохнула, взяла бутылку и плеснула самогона в стальной наперсток, стоящий на маленьком пластиковом столике. Этот стандартный столик для маленьких людей доктор сразу и не приметил. Он стоял между блюдом с ветчиной и чашкой с солеными огурцами. На столике поблескивал наперсток, стояли стаканчики, тарелочки с той же самой закуской, что и на большом столе для обычных людей, только отрезанной по кусочку от большой закуски: кусочек ветчины, кусочек сала, кусочек соленого огурца, хлебный мякиш, соленый груздь, капуста.

Затянувшись быстро и с неприятным, змеиным шипением выпустив дым, мельник кинул сигарку на пол, встал, с размаху припечатал окурки сапогом. Доктор заметил, что его красные сапожки подкованы медью. Мельник взял наперсток, стоя и пошатываясь, протянул к доктору:

– Пью за вас, господин доктор! За дорогого гостя. И пью супротив всякой рвани.

Доктор жевал, молча глядя на мельника. Мельничиха снова наполнила его стопку. Доктор взял ее, чокнулся с наперстком и со стопкой хозяйки. Выпили: доктор все так же быстро и беззвучно, Таисия Марковна медленно, со вздохом, колыша своей большой грудью, мельник как-то мучительно, запрокидываясь назад.

– Ох, – выдохнула мельничиха, сложила свои небольшие губы трубочкой, выдохнула и, поправив на плечах платок, скрестила полные руки на высокой груди, стала смотреть на доктора.

– У-ях! – крикнул мельник, с размаху стукнул пустым наперстком по столику, схватил хлебный мякиш, сунул в него нос и громко понюхал.

– Как же вы полопались? – спросила мельничиха. – Аль в пенек въехали?

– Въехали, – согласился доктор, суя в рот кусок ветчины и не имея никакого желания пересказывать нелепую историю с пирамидой.

– Да как же этому Перхушке не въехать?! Он же мудака! – запищал мельник.

– У тебя все мудаки. Дай поговорить с человеком. Где ж это случилось?

– Верстах в трех отсюда.

– Чай, в овражке? – Мельник взял маленький ножик, шатаясь, подошел к чашке с солеными огурцами, воткнул нож в огурец, вырезал кусок, как вырезают клин из арбуза, сунул в рот и захрустел.

– Нет, это случилось до оврага.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.